

«Можно мне Вас Тихонько любить?»

ПАМЯТЬ УЛИЦ *Моск. правдо. - 1999.
в мая. - с. 4.*



Владимир ПРИХОДЬКО

Шли по Хорошевке. Моя продвинутая спутница сказала: «Где-то рядом жил Вертинский. Сначала он снимал номер в «Метрополе». Три года. А потом переехал на Хорошевку. Гулял, наверно, с дочками по Серебряному бору. Квартира была на первом этаже, а это было тогда очень страшно».

Наша история, как песок, просыпалась меж пальцами. Сколько фасадов в Москве должны быть украшены мемориальными досками. И разве на Тверской, где Вертинский жил в юности и в свои поздние годы, есть памятка?

Из серьезных литераторов Вертинским занимался Юрий Томашевский, мой рано ушедший товарищ. Он составил и издал в 1990 году книгу «Дорогой длинной...», где под одной обложкой стихи, песенные тексты, рассказы, мемуары, письма; нет только нот (нотная строчка появилась в книге «За кулисами», 1991); Томашевский натерпелся всякого от грозной вдовы Александра Николаевича; изданиями своими гордился. Стихотворный раздел «Дорогой длинной» завершает четверостишие-набросок: «И в хаосе этого страшного мира, / Под бешеный вихрь огня / Проносится огромный, истрепанный том Шекспира / И только маленький томик - меня...» Да не будут прочтены эти полужуточные строки как самоуничижение. В сравнении с Шекспиром все поэты проигрывают. Без чудесной песен-

ности Вертинского, без его томика XX век неполный.

И, думаю, Вертинский знал себе цену.

«Бешеный вихрь огня», который стал ему аккомпанементом, вспыхнул в 1914 году. «Влюбленному Пьеро» (ампула и маска) было 25 лет. Война, смута... Не принятый статистом в Художественный театр, он неожиданно для себя пошел в госпиталь санитаром. Его называли не по фамилии. Брат Пьеро, Пьероша... Вынимал осколки, обмывал раны. Пел для раненых и персонала. В октябре 1917-го пропел рекевием «русским мальчикам», павшим под пулями: «Я не знаю, зачем и кому это нужно, / Кто послал их на смерть недождавшей рукой (...) Закидали их елками, замесили их грязью (...) И никто не додумался просто стать на колени / И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране / Даже светлые подвиги - это только ступени / В бесконечные пропасти - к недоступной Весне!» Этот рекевием, актуальный поныне, - идейный центр лирики Вертинского. Она сложилась под влиянием и в атмосфере Блока («хмельной ветер поэзии Блока, отравившей не одно сердце»), Бальмонта, в сильной степени Северянина, Саши Черного, Маяковского, Ахматовой, Тэффи, цыганщины, городского романа.

Вертинский в Москве до 1914 года возникает в воспоминаниях сестер Алисы и Иды Хвас, у которых было что-то вроде салона на Садовой-Кудринской. Еще не Пьеро, еще не кумир, «полуголодный, в запла-

танных брюках, с изможденным лицом, всегда накакаиненный, нервный». Часто садится за рояль, наигрывает какие-то мелодии, заготовки будущих песенок. «Ближе к рассвету, когда иссякали все запасы папирос, Вертинский лихорадочно окурки, которые жадно докуривал, после чего в состоянии возбуждения начинал рассказывать очаровательные причудливые сказки». Приходил и юноша Маяковский, ревновавший Вертинского к каждой юбке (впоследствии любил напевать его песенки).

Чувство родины у эмигранта погуще. Однажды Твардовский встретил Примерова. «Вы поэт?», - «Поэт». - «Кого из поэтов любите?» - «Соколова». - «Прочтите что-нибудь». Примеров прочел: «Хотел бы я долгие годы на родине милой прожить». Твардовский спросил: «Автор - эмигрант?» Вертинский провел в эмиграции четверть века, его песни выразили жестокую ностальгию многих тысяч русских. Великолепные «Чужие города» (вместе с Раисой Блох), «Молись, кунак» (помню, как восхищался Межиров этим «кунаком»), «В степи молдавнской».

Вот стихи от имени «сбежавшего поколения», Шанхай, 1942-й, в разгаре новая война, жить очень трудно: «И, пройдя весь ад судьбы превратной, / Растеряв начала и концы, / Мы стучимся к родине обратно, / Нищие и блудные отцы». Вертинский готовился стать отцом; в 1943-м он был уже в Москве; родился второй ребенок; в 1945-м спел: «Много русского солнца и света / Будет в жизни дочурок моих. / И что самое главное - это / То, что родина будет у них». Демонстрирующему патриотизм реэмигранту было 56 лет. А ведь он мог вернуться в Россию уже в 1922 году. В Польше (где позже «вечерами разговаривал» с «умницей, веселенькой» первой женой по имени Рахиль) познакомился с посланцем Войковым, пел для него. Войков спросил: «Почему не возвращаетесь на родину?» Вертинский что-то сбивчиво объяснял. Войков предложил написать прошение, на чертал резолюцию. Лично поддержал. Однако советские власти ответили отказом. Кажется, Войков не вполне понимал, что происходит дома: в том же году влиятельный большевик (Каменев) сказал крылатую фразу: «Упрямых вышлем, а прочих купим», и были высланы видные интеллектуалы, начиная с Ю. Айхенвальда и Бердяева. Участь кафешантанного певца без аудитории никого не занимала.

Мемуары Вертинского привлекают тем же сплавом трагического лиризма и насмешливой иронии, что и песни. Русский патриот с польской фамилией (от предка, обрусевшего поляка) родился на Украине, в Киеве 9 (21).3.1889. И начал рассказ о себе так: «Я сидел в доме своей тетки (...) на маленьком детском горшочке и выковыривал глаза у плюшевого медвежонка (...). Лизка, горничная, девчонка лет пятнадцати, подошла ко мне и сказала: «Будет тебе сидеть на горшке! Вставай, у тебя умерла мама!»

За год до собственной смерти (21.5.1957, Ленинград) Вертинский написал о родине нежной - Киеве: «Я готов целовать твои улицы (...) Здесь тогда торговали мороженым, / А налево была каланча... / Пожалей меня, Господи Боже мой... / Догорает моя свеча».

Звездные часы Вертинского - конец 10-х - 20-е годы. Вернувшись на родину, он делал различные попытки вписаться в советское, с энтузиазмом снимался в кино (в скверных фильмах). Готов был петь «родные пятилетки» и плавиться «в мартенах коммунизма» (в плохое время, в 1950-м). И даже спел песню о Сталине. Но так и остался белой вороной. В послесталинскую оттепель услышал (из уст Хрущева) то, что давно знал. Писал в письме: «Все фальшиво, подло, неверно». В адрес Отелло-Бондарчука сказал: «Бондарчук забыл самое главное. Он забыл влюбиться в Дездемону! (...) С экрана выглядывает все тот же «собираетельный», выдуманный тип «советского» человечка, которого пока еще нет и которого так мучительно мечтает родить партия!»

Пресса о нем молчала, пластинки не выходили. «А жить уже осталось так немного», говоря строкой из его «Палестинского танго».

Ныне 110-летие Вертинского. А ведь я его видел и слышал. Во Львове, в опере. Моя мать считала, что это было в 1949-м, я думаю, в 1954-м. Даже назову дату: 26 апреля. По письму Вертинского жене. «Я уже спел три концерта в огромной консерватории - переполненные до отказа - и сегодня пою в опере. Львов, который помнит меня кардиналом, прямо с ума сходит». (Фильм «Заговор обреченных» с Вертинским снимался во Львове). Опера тоже была полна. Я, 18-летний, с другими контрамарочниками (мать работала в театре) устроился в оркестровой яме. Вертинский был близко, ближе, чем из первого ряда. На меня, уже знакомого с ним по пластинкам польской фирмы «Сирена», он произвел громадное впечатление. Он неподражаемо пел, по-

детски гассируя. Легко переходил от горечи к страсти, от рыдания к шутке. Руки танцевали: в «Маленькой балерине», в сингапурском танго. Он с такой брезгливостью произнес «пойти учиться... в комсомол!», что публика пожелала: крамольник (тогда слова «диссидент» не было). У рояля был бессменный, обожающий его Брехес.

Вертинский был человеком богемы. Остроумным, жизнелюбивым. Композитор Михаил Бак, делавший аранжировки его мелодиям, рассказывал мне, как он говорил: «Бог дал мужчине два ведра спермы. Я досребываю второе». И еще, на ту же тему: «Я мужчина, пока у меня ресницы шевелятся».

В 70-е годы я был завсегдаем ЦДЛ. Однажды кто-то за столиком рассказал, что Вертинский потому вернулся, когда не возвращался никто, что был агентом НКВД и шпионил в эмигрантской среде - в Париже, в Шанхае. Рассказчик убедился в этом, увидев в музее квестов на Лубянке портрет Вертинского. Неужели мой кумир был завербован, с ужасом думал я. Как это проверить?... Неожиданно бюро пропаганды СП предложило выступить на детском утреннике в ДК Дзержинского. После выступления я обматывал симпатичную администраторшу: нельзя ли побывать в вашем закрытом музее? Сказала: появится возможность, позвоню. И недели через три позвонила. Встретила, провела, присоединила к экскурсии вrede бы гэбэшников из провинции. Вел экскурсию аккуратный военный в штатском. Я вполуха слушал про героический путь и шарил глазами по стенам. Портрета не было! В конце экскурсии я задал вопрос экскурсоводу. Он посмотрел на меня с полным недоумением. Нет... никогда... выдумка...

Собственно, это не столько о Вертинском, сколько о нравах нашего литературского «стук-городка», где о каждом втором шушукали: стукач, доносчик, болезненно подозревали не тех, кого бы надо подозревать, порочили и клеветали.

Вертинскому выпала жестокая эра. Его главный мотив: жажда и нехватка теплоты, ласки, любви. Обязательный образ в «маленьком томике» - поклонница за кулисами. «Кто-то злобно шипел: «Молодой, да удаленький! / Вот кто за нос умеет водить! / И тогда Вы сказали: «Послушайте, маленький, / Можно мне вас тихонько любить?»

Всю жизнь я обращаюсь к божественному дару Александра Николаевича с этими, напетыми им, словами.